



*БИБЛИОТЕЧКА ГАЗЕТЫ «ОБЩИННЫЙ ВЕСТНИК»*

Иосиф Гин

**ХОЧУ РАССКАЗАТЬ...**

ПЕТРОЗАВОДСК 2013

УДК 82.09 (470.22)  
ББК 83.3 (2 Рос. Кар)

Г 49

Редактор Дмитрий Цвибель

Гин, Иосиф

**Г 49** Хочу рассказать.../Иосиф Гин; Еврейская религиозная община. - Петрозаводск: ООО «Два товарища», 2013, 48 с.: (Библиотечка газеты «Общинный вестник»; вып. 16)

ISBN

УДК 82.09 (470.22)  
ББК 83.3 (2 Рос. Кар)

## ОТЕЦ РАССКАЗЫВАЛ...

Я люблю повторять слова тургеневского Базарова: "Мой дед землю пахал..." И люблю эти слова, по-своему гордые, прикладывать к самому себе. Да, такое не часто бывает у евреев: мой дед Моисей Гин был настоящим и простым крестьянином. Тут к рассказам моего отца, Хаима Моисеевича Гина, надо сделать небольшое предисловие.

В самом начале девятнадцатого века, вскоре после завоевания Крыма и Северного Причерноморья, которое стало называться Новороссией, потребовалось российскому правительству заселить эти целинные степи. Это теперешние области Украины: Одесская, Николаевская, Запорожская и Херсонская. И додумались тогдашние власти переселить на эти земли евреев из местечек Литвы, которая тогда охватывала и часть Белоруссии, то есть из черты оседлости. Известно, что в Российской Империи евреи не могли по закону быть крестьянами. Но известно с давних пор и другое: издавна в России закон, что дышло – куда повернул, туда и вышло... В конце 20-х годов XIX столетия, уже в царствование Николая I появился у правительства «сильный» козырь: у переселившихся не будут хватать 10 – 12-летних мальчиков в кантонисты и на 25 лет в солдаты-рекруты, то есть мальчик должен был в солдатчине прожить лет десять, стать совершеннолетним и только потом начинался отсчет этих страшных двадцати пяти лет рекрутских...

Было одно серьезное препятствие: как из ремесленников, торговцев и «людей воздуха», как говорил Шолом-Алейхем, превратиться в крестьян. И какой же пахарь из местечкового еврея? Правительство тогдашнее в этом пункте действовало довольно-таки неглупо. В каждую такую деревню переселили по несколько крепких немецких крестьянских семей из Поволжья. И языкового барьера почти не было: идиш ведь родственник немецкого языка... Вот они-то и учили наших предков пахать, сеять и прочей крестьянской премудрости.

Мой отец говорил: мы – литваки. Однажды я услышал от отца название его деревни: Третья Рота. Для меня сразу стало ясно, что и евреев-колонистов, и немцев-колонистов поселили на месте неудавшихся аракчевских военных поселений.

В России во все времена проделывали различные эксперименты над населением. После войны 1812 года военный министр Аракчеев – мрачный и жестокий мечтатель-утопист – создал военные поселения, где попытался солдат-рекрутов, тянувших солдатскую ляжку, приучить еще и быть крестьянами в то же самое время. Казалось бы, вполне логично: так как почти все рекруты из крестьян, то почему бы им заодно и не покрестьянствовать. Однако эта дикая утопия закончилась бунтами. Пришлось от нее отказаться. Так евреи оказались в деревне Третья Рота.

Теперь я могу коснуться только самого конца XIX века, когда евреи-крестьяне уже давно состоялись. Да, я люблю повторять слова тургеневского Базарова: «Мой дед землю пахал...» Но ведь уже мой отец и его братья и сестра не крестьянствовали. Почему? Начну с того, что тогда Россия не покупала хлеб, а продавала. Мой дед, как и все крестьяне, торопился пораньше продать собранный хлеб, зерно, пока не упали на него цены. Он с односельчанами, большим обозом, везли пшеницу в Мариуполь, на корабль. Надо было торопиться, так как цены на зерно в конце лета падали. Так они везли свой урожай в 1898 году. И в дороге дед, могучий, огромного роста крестьянин, заболел. Отец рассказывал, что дед в своей деревне Третья Рота славился силой. Он глубже всех загонял топор в пень или колоду – такие тогда были соревнования. Так вот, дед заболел. Острые боли в животе. Что это было? Приступ аппендицита? Заворот кишок? Так никто и не узнал. Односельчане, по их понятиям, действовали очень человечно, а по нашим нынешним – довольно дико. Они не стали искать врача. Да и где было его найти тогда в случайной на пути деревне? По их понятиям они действовали правильно: оставили в той деревне деда, а его возы с пшеницей повезли, чтобы скорее и получше

продать, чтобы многочисленная семья деда не бедствовала зимой... Через несколько суток, на обратном пути, в той неведомой деревне они нашли деда уже мертвым. А было ему от роду тридцать восемь лет. И односельчане сделали еще одно доброе дело: тайком, накрыв пустыми мешками, привезли труп деда домой, в Третью Роту. Почему тайком? Полиция не разрешала в теплое время года так, открытым, перевозить труп.

Так моя бабушка в возрасте тридцати семи лет овдовела. У нее было восемь детей: семь мальчиков и одна девочка. От четырнадцатилетнего болезненного Иосифа до полугодовалого Израиля. Какое уж тут крестьянствование. Бабушка отдала землю, лошадь и инвентарь соседу немцу-колонисту. И называлось это «исполу», то есть такой арендатор должен был возвращать вдове половину урожая. А корову, эту кормилицу, конечно, не отдала. Отец взволнованно вспоминал врезавшуюся ему в память детскую поистине драматическую историю с этой коровой.

Однажды бабушка заметила на вымени коровы гнойный нарыв. Это ее очень напугало. Бог весть, были ли тогда поблизости ветеринары. В деревне секретов не бывает. Стал часто заходить мясник и уговаривать бабушку продать корову на мясо. Но это ведь отдать кормилицу за бесценнок. А как прожить со всеми детьми без коровы?.. А далее в воспоминаниях отца шла сцена, которую он никогда не мог забыть.

Корова вернулась под вечер из стада и стояла посреди двора. А под ее брюхом сидел их большой дворовый пес Шарик. Корова, понятно, свою собаку не боялась. Шарик с усилием, с нажимом лизал этот большой гнойный нарыв. «Мы, вспоминал отец, все оцепенели, боялись дышать. А Шарик все работал и работал – и вылизал весь гной. А потом быстро рана зажила. Какая радость была, когда Шарик спас нашу кормилицу корову, говорил отец».

Деду было 38 лет в 1898 году, то есть он был 1860 года рождения; бабушке тогда было 37 лет, она на год моложе. Откуда я взял такую твердую дату смерти деда – 1889 год? Отец не раз

говорил, что когда умер его отец, ему было пять лет. И еще одно я твердо усвоил: в рождении детей у деда и бабушки был четкий порядок – все рождались через два года. Я пытаюсь выстроить этот ряд: Израиль – 1897; Евсей – 1895; Хаим (мой отец) – 1893; Михаил – 1891; Соня – 1889; Яков – 1887; Тевье – 1885; Иосиф – 1883.

Я только двоих никогда не видел – Иосифа и Якова. Старший брат отца Иосиф (его имя ношу я) умер от сыпняка еще молодым в 1919 году, Яков во время первой мировой войны женился на жительнице города Ковно (теперь Каунас) и после революции оказался в другом государстве, в Литве. Когда перед войной присоединили Прибалтику, Яков написал отцу, собирался приехать. Грянула война, и он, его жена и две дочери погибли или в Ковно, или в Саласпилсе. Его имя мы дали своему сыну. А в юности Яков был очень активным, связан был с революционными кружками Екатеринослава. Отец вспоминал, что по поручению Якова он (отцу тогда было лет тринадцать) относил небольшой тяжелый чемоданчик куда-то на окраину Екатеринослава...

Я хорошо помню самого младшего из братьев отца – Израиля. Он был сменным мастером на знаменитом Московском электроламповом заводе. Михаил был столяром, а самый старший из живых тогда братьев Тевье был мыловаром. Что запоминается маленькому мальчику, каким был я за несколько лет перед войной? Надо мной посмеивались взрослые: мне нравилось смотреть, как дядя Тевье пьет молоко. У него были пышные, как у Тараса Шевченко, усы – и я как замороженный смотрел, как усы погружаются в молоко...

Дядя Тевье был тихий, спокойный и, видимо, очень мечтательный молодой человек. Он отслужил солдатом еще до первой мировой войны. Его призвали и на ту далекую первую мировую. И он случайно попал в роту, где командиром был его давний командир, у которого он проходил действительную службу. То был интеллигентный офицер, и он был рад встретить своего давнего солдата, аккуратного и исполнительного. А тут случился

какой-то дезертир, которого должны расстрелять перед строем. И этот чуткий офицер увидел в строю белое как полотно лицо рядового Тевье Гина. И командир роты неожиданно приказал Тевье Гину принести себе из поселка плащ, хотя на небе не было ни одной тучки. Пока рядовой Гин ходил на квартиру ротного командира за плащом, того злополучного дезертира расстреляли...

Да, дядя Тевье, по рассказам отца, был очень мечтательным человеком. Это случилось все в ту первую мировую войну на австрийском фронте. Они шли с винтовками наперерез по небольшому леску. Свистели пули. Атака задержалась или почему-то захлебнулась. Тевье стоял за деревом и ждал команды. И, как ни странно, в такой обстановке размечтался: окончится война, он вернется в свой поселок Лозовая Павловка, что в Донбассе. Там ждет его невеста; он женится... И вдруг что-то ожгло его живот. Это было пулевое ранение. И Тевье еще повезло, что пуля была на излет – и неглубоко проникла. В госпитале залечили рану, не извлекая пули из живота. Так он с нею и прожил всю жизнь этот безропотный дядя Тевье. А умер во время Отечественной войны в глухом кишлаке, где-то в Казахстане.

Овдовевшая бабушка, как и положено, отдавала мальчиков с пяти лет в хэдэр, а в десять лет была вынуждена прерывать их учебу и отдавать их в «науку» какому-то ремесленнику. Мой отец учился на бондаря, хотя, насколько я знаю, никогда не работал по этой профессии. На моей памяти и до войны и после войны был он сменным в Ворошиловграде мастером на крохотном заводике под названием «Штамп-часы». Что они с часами делали, я не знаю, а вот штамповочный участок отца делал жестяные бирки для шахт, бань, еще для чего-то.

Первое свое жалованье, вспоминал отец, он получил в пятнадцать лет и решил сделать хороший подарок маме. Он купил фильдеперсовы ажурные чулки и привез свой подарок в Третью Роту. Женщины всей деревни ходили смотреть эти чулки, и вся Третья Рота хохотала: по их понятиям такие чулки носили только гулящие женщины...

Отец мало учился, но с братьями переписывался на идиш. И даже мне диктовал простенькие диктанты на идиш. По-русски же он выучился читать-писать сам, и был незаурядным читателем. Гордился перед сыновьями-филологами, что помнит толстовскую «Войну и мир» в подробностях...

В 1926 году отец был в самой лучшей поре своей – ему было 33 года. Он начал работать в Луганске, который позднее переименовали в Ворошиловград, затем при Хрущеве – в Луганск, а при Брежневе – в Ворошиловград и, наконец (наконец ли?) вернулись к старому Луганску. Так вот отец работал в Луганске, а семья еще не перебралась из поселка пригородного Лозовая Павловка, поэтому отец часто ездил поездом. С ним всегда в дороге были газеты, книга. Так сидя в вагоне, он раскрыл газету, и среди чтения вдруг у него буквально слезы брызнули на лист газеты. Пассажиры вокруг всполошились: огромного роста, молодой, сильный мужчина – и вдруг такие слезы... Отец вспоминал, что он тогда прочитал про очень шумевшую историю. Начало этой истории в годы гражданской войны, когда петлюровцы во время погрома еврейского вырезали много людей, в том числе и жену и детей одного скромного человека, кажется, портного, который в это время был в отъезде. И он решил найти генерала Петлюру. Уехать в двадцатые годы в другую страну было не очень сложно. И вот в Париже он добывает (покупает?) револьвер. Ему показали степенного человека средних лет и сказали: это Петлюра. Он боялся ошибиться и переспросил: «Вы генерал Петлюра?» И только после этого разрядил в него револьвер. После этого он уже никуда не спешил. Спокойно отдал оружие полиции. Белая эмиграция подняла настоящую бурю, но ей ничего не помогло: французский суд Парижа оправдал этого человека, фамилию которого я запомнил. Это было одно из самых сильных переживаний молодости моего отца. Впереди было много другого.



## МОЙ СТАРШИЙ БРАТ.

Моему брату Моисею Гину этим летом – 20 июня 2009 года – исполнилось бы девяносто лет. Он – литературовед, историк литературы, литературный критик, автор многих книг, большая часть их посвящена исследованию творчества Некрасова. В последней биографии Некрасова, изданной в серии ЖЗЛ, в конце книги приложена краткая библиография. Среди немногих книг о жизни и творчестве поэта, рядом с работами Корнея Чуковского, Евгеньева-Максимова, Кормана и Бухштаба упомянута лучшая книга Моисея Гина о поэтике Некрасова «От слова к образу и сюжету».

Всю жизнь Моисей Гин проработал на одном месте – в Петрозаводском университете. Живя в Карелии, много занимался и литературной критикой, писал о Линевском, Гусарове, Викстреме, Соловьеве, Авдышеве, Трофимове. В начале пятидесятых годов я, еще живя на Украине, необычным путем узнал об одной литературно-критической статье брата. Мой друг, молодой поэт, поехал поступать в Литературный институт. Когда он вернулся из Москвы, то рассказал, что там познакомился с поэтом из Петрозаводска Владимиром Морозовым и тот ему сказал, что о нем писал петрозаводский критик Моисей Гин.

И моя жена Софья Лойтер, и наш сын Яков Гин, и я – все мы слушали лекции Моисея Гина. Только зачеты и экзамены я сдавал другим преподавателям.

Те же давние лекции брата хорошо запомнились. Приведу только один пример: рассказ о дореволюционной цензуре середины XIX века, Салтыкове-Щедрине и «Поваренной книге». Цензурный устав того времени называли чугунным. Тем не менее, у такого беспощадного сатирика как Салтыков-Щедрин книги выходили – конечно, ободранные цензурой, но выходили же! Почему? Да потому что цензору не вменялось в обязанность читать между строк, читать в душах, расшифровывать намеки и т.д. и т. п. Если можно так сказать, цензуровалось только то,

что видимо глазу. И в те же годы в представленной в цензуру «Поваренной книге» писалось, что испекшийся пирог надо выставить на вольный дух... Вот этого цензура, конечно, допустить не могла и «вольный дух» был вычеркнут.

Всем, хорошо знакомым с советской цензурой, тот давний цензурный устав, прозванный чугунным, кажется простодушным и наивным, как гоголевские старосветские помещики. По условиям того времени, понятно, Моисей Гин не мог сравнивать «век нынешний и век минувший». Но те, кто хотел понимать, задумывались.

Наверно, после такого вступления надо начать двигаться по порядку и с самого начала. Брат родился недалеко от Луганска, в небольшом поселке Лозовая Павловка. Когда брату было лет шесть, отец наш попросил раввина обучать сына древнееврейскому языку. Но вскоре брат пошел в советскую школу, а там ребята стали смеяться, что он учится богу... Нашему отцу пришлось отказаться от своей мечты. Он видел, что советская идеология называет древнееврейский язык буржуазным и всячески его преследует.

Родители наши были хорошими читателями, особенно отец, и можно представить, как гордились они братом, который еще до войны стал студентом филологического факультета знаменитого Ленинградского университета. Жили уже в Луганске, который стал называться Ворошиловградом. Работал только отец. И как ни скромно жили, брата, приезжавшего на летние каникулы, встречали торжественно, хотя он мог, конечно же, со своим небольшим чемоданчиком сам прийти с вокзала.

Мне запомнились эти встречи. Мы – отец, мама и я – ехали на линейке на вокзал. На одной стороне сидели возчик и отец, а на другой мы с мамой. Когда же ехали домой, то я уже сидел рядом с чемоданом на багажном месте, на задке линейки. Но все это незначительные мелочи по сравнению с той радостью, что я встречаю старшего брата. Ведь я еще не ходил в школу, а брат уже был студентом.

Правда, одно обстоятельство порядком отравляло мою радость. Не знаю с чего, но я в детстве панически боялся паровозных гудков. А спустя многие годы по первой профессии стал техником по паровозостроению и работал сменным мастером на испытании новых паровозов на паровозостроительном заводе в родном Ворошиловграде. И должен был проверять, в том числе, и годность этих самых гудков, которых в детстве так панически боялся. Когда машинист или помощник его включал гудок, я стоял в метре от него с открытым ртом, чтобы не оглохнуть, и должен был убедиться, что корпус гудка целый, без раковин и трещин. Да, такая вот ирония судьбы...

Дома, особенно после войны, когда брат стал известным ученым-литературоведом, – дома царил, чуть ли не культ брата. У нас тогда жила традиция семейного по вечерам чтения. Чтение у родителей отдельно не выделяло поэзию, но Некрасов почитался особо. Помню, как мама плакала, когда я читал вслух некрасовских «Русских женщин». Читали и Шевченко, и Шолом-Алейхема, и «Василия Теркина» Твардовского, и стихи Роберта Бернса в переводе Самуила Маршака, и Расула Гамзатова. И все это было для наших родителей не проза или поэзия, а просто близкие и дорогие им вещи.

На Шолом-Алейхеме надо особенно остановиться. Отец нам часто читал в подлиннике, то есть на идиш и «Тевье – молочника», и «Мальчика Мотла», и другие вещи писателя. На идиш это особое чудо, в переводе, конечно, что-то теряется. И кроме всего прочего, мы же немного приобщались к дивному этому языку идиш. А мой старший брат Моисей, когда рассуждал о национальном своеобразии, то обязательно вспоминал то место у Шолом-Алейхема, где маленький Мотл говорит, что он любит животных, особенно всех маленьких: и маленьких кошечек, котят, и маленьких собачек, щенят, и маленьких козочек. Он и дружит с соседским маленьким теленком и дал ему имя-кличку Мени, потому что тот все «говорит» ме да ме... Да, продолжал брат, Мотл любит всех маленьких, но свинок, даже самых маленьких поросят он видеть не может... Так в душе еврейского мальчика

смешиваются его детские пристрастия с восанным с молоком матери.

В моем раннем чтении влияние брата было большим. Он мне подарил уникальный однотомник Лермонтова. Известно, что подростки особенно тянутся к Лермонтову. Пора Пушкина наступает позднее. Летом 1941 года издали большой и большеформатный том избранного Лермонтова к юбилею поэта. Началась война – и весь тираж остался в блокадном Ленинграде. В предвоенные и первые послевоенные годы часто издавали классиков такими огромными однотомниками – Пушкина, Тургенева, Куприна, Маяковского.

С однотомником Маяковского связаны особые воспоминания. Не помню с чего у меня, мальчишки, появилось отрицательное, нигилистическое отношение к Маяковскому. И что-то такое я брату и ляпнул, когда летом гостил у брата в Ленинграде. И вот он достал с полки огромный предвоенный однотомник Маяковского с красным силуэтным профилем поэта на обложке. И всю белую ночь напролет брат читал мне Маяковского. Это была первая в моей жизни бессонная белая ночь. С этой ночи и начался для меня настоящий Маяковский.

Я, конечно, далеко забежал вперед. Воспоминания никак не хотят выстраиваться в строгой последовательности. А если последовательно двигаться, то надо вспомнить ту великую войну, в которую брат провоевал в блокаде Ленинграда. В то лето 1941 года брат окончил четвертый курс, им спешно организовали госэкзамены, а диплом об окончании университета он получил, когда вернулся с войны.

Война для брата началась в конце лета с большого партизанского рейда по тылам врага. Их было больше пятисот человек – студентов и преподавателей университета, плохо вооруженных. Вернулись в Ленинград едва больше ста человек. Вернулись в уже голодающий Ленинград. У брата была редкая медаль – ленинградских партизан.

В одной книге о блокаде Ленинграда прочитал такое:

«Приказ № 57 г. Ленинград

20 октября 1941 г.

Гина М.Х. – пожарного, с 16 октября считать призванным в ряды РККА».

Это уже после рейда партизанской бригады. Почему пожарного? Были тогда отряды по тушению так называемых «зажигалок» – небольших термитных бомб, вызывавших пожары. Этим он занимался и до партизанского рейда и после него.

Брат мало рассказывал о войне и о блокаде. Только в поздние свои годы я начал понимать, что охотно и много рассказывают о войне те, кто ее легко прошел...

Поначалу был он солдатом, как тогда говорили, красноармейцем. С 1943 года командир взвода, а позднее – роты. Оба прорыва блокады Ленинграда пережил в 1943 со своим взводом, а в 1944 со своей ротой. Особенно запомнилась ему атака после мощной артподготовки. В роте много было необстрелянных новобранцев. Одна автоматная очередь – и все прочно залегли. Вот тогда и ранило брата в плечо, когда он со старшиной поднимал роту. И не словами «За Родину! За Сталина!» В ход шли куда более увесистые и более употребительные слова... А «За Родину!» и «За Сталина!» писалось потом в рапортах.

Окончилась война. Еще до войны его учитель и руководитель Некрасовского семинара профессор В.Е. Евгеньев-Максимов сказал, что примет его, брата моего, в аспирантуру. Но в первые послевоенные годы начал работать государственный антисемитизм. Брат метался между Ленинградом и Москвой – ничего не получалось. Отчаявшись, позвонил Эренбургу. Тот, услышав, что звонит Моисей Хаимович Гин, сразу сказал, что он все понял... Понятно, помочь он никак не мог. А помог настойчивый профессор Евгеньев-Максимов. Он договорился со знаменитым Жирмунским, что тот примет брата в «западную», то есть в аспирантуру не по русской литературе. А когда подзабылись те баталии, то документы перенесли в «русскую» аспирантуру.

И в 1950 году брат блестяще защитил диссертацию по творчеству Некрасова. И в том же году начал работать в Петрозаводске, в Петрозаводском университете.

За свою не очень долгую жизнь Моисей Гин написал много книг и статей. Брат был настоящим тружеником в науке. Он часто вспоминал пушкинскую строку «Высокой страсти не имея...» Это о тех, кто равнодушен к своему делу. Сам же ко времени защиты кандидатской диссертации в 1950 году был уже известным некрасоведом: подготовил и прокомментировал девятый том собрания сочинений Некрасова. В том же году вышел в малой серии Библиотеки Поэта трехтомник поэзии Некрасова, прокомментированный Т.Бесединой и М.Гином. В 1955 году появился «Семинарий по Некрасову», созданный М.Гином в соавторстве со своим учителем, известным некрасоведом В.Е.Евгеньевым-Максимовым. Этим семинарием пользовалось не одно поколение ученых, преподавателей и студентов. В 1957 году отдельной книгой напечатана в Петрозаводске кандидатская диссертация «Н.А. Некрасов – литературный критик», а в следующем, году в издательстве «Искусство» появилась книга «Некрасов – драматург и театральный критик» (в соавторстве с Вс.Успенским). В 1966 году в Петрозаводске опубликована книга «О своеобразии реализма Н.А. Некрасова». Это была его докторская диссертация, защищенная в родном Ленинградском университете в следующем 1967 году. В 1969 году в издательстве «Карелия» появился том исследований и статей «Литература и время», в котором есть и литературно-критические работы о писателях Карелии и Севера. Поэзии Некрасова посвящена лучшая книга Моисея Гина «От факта к образу и сюжету» (издательство «Советский писатель», Москва, 1971 г.). Это последняя прижизненная книга М.Гина. В 1985 году, через год после смерти брата, была издана в Петрозаводске его книга «Достоевский и Некрасов». Исследование о сказках Салтыкова-Щедрина не было завершено. Много сил в последние годы было отдано второму полному собранию сочинений Некрасова.

Брат и был инициатором этого пятнадцатитомного собрания сочинений: он написал Твардовскому о необходимости начать это издание. Сохранился и ответ Твардовского.

Хочу в конце вспомнить только одну его статью, которая в переводе на идиш была опубликована в еврейском журнале «Советиш геймланд». Брат решил проследить судьбу одного некрасовского мотива. В стихотворении «О погоде» мы читаем об обессилевшей, о замученной лошади, которую мужик бьет по голове «И по плачущим, кротким глазам...» Когда Достоевский писал своего Раскольникова в романе «Преступление и наказание», то он попросил разрешения у Некрасова использовать этот мотив замученной лошади в сне Раскольникова. Так появился тот сон Раскольникова. Так замученная лошадь стала символом замученного народа. И Менделе Мойхер-Сфорим написал повесть «Кляча», которую двадцатилетний Иван Бунин, не зная, понятно, идиш, перевел на русский язык. Кто-то ему помогал. А позднее Салтыков-Щедрин написал свою сказку «Коняга». Это все писалось в XIX столетии, а в 1918 году Маяковский создал свое «Хорошее отношение к лошадям», где есть такие слова: «Деточка, мы все немножко лошади...» И, наконец, в начале двадцатых годов Бабель написал рассказ «Начальник конзапаса» – все о тех же замученных людях, которых мы видим через все тех же замученных лошадей...

Это только несколько отрывков из воспоминаний о моем старшем брате.

## УСТНЫЕ РАССКАЗЫ МОИСЕЯ ГИНА

### I. Ларок

Брат был отличным рассказчиком, но ни он сам и никто другой так и не записали эти рассказы. Это не единственный пример. А разве записали такого уникального мастера устного рассказа, каким была художник Валентина Авдышева?..

Некоторые рассказы брата я, мне кажется, хорошо помню. Вот один из них. О том, как композитор-песенник с поэтом приезжают в одну из республик, чтобы сочинить песню для какого-то юбилея. Происходило все это в уже давние советские годы.

Там у композитора жил друг еще со времен гражданской войны. Теперь он большой начальник – первый заместитель министра внутренних дел, генерал или, как тогда эмвездешных генералов называли, – комиссар. В нравах того времени было, что вторые фигуры в национальных республиках всегда были от центра, из Москвы. Таким был и друг композитора.

И вот наши творцы поселились в большой гостинице. А напротив нее очень предприимчивый человек торговал в небольшой забегаловке водочкой в разлив.

Рано утром композитор глянул в окно.

– Ларок открыт...

Как были в полосатых пижамах, так и сбежали композитор и поэт к ларьку, приняли – и назад в номер. Работа пошла хорошо. Как утро, так звучит бодрый сигнал:

– Ларок открыт...

Прошло несколько дней такой райской жизни. И вот однажды их остановил милиционер и, вежливо показывая на пижамы, сказал:

– Горсовет постановил, что в таком виде по улице ходить нельзя.

– Больше это не повторится – в один голос заявили поэт и композитор.



А наутро:

– Ларок открыт...

И все пошло, конечно, по-старому. Прошло еще несколько таких райских, дней, но, как известно, райская жизнь долго не бывает.

Однажды они в своих пижамах напоролись все на того же милиционера.

В отделении композитор вежливо попросил дежурного лейтенанта:

– Мы в чужом городе, а родственники позвонят в гостиницу и будут взволнованы моим исчезновением. Позвольте только позвонить.

Дежурный позволил. Композитор набирает домашний телефон своего друга высокого.

– Ты спишь, а мы уже в отделении...

– Дай трубку дежурному.

Когда дежурный услышал, кто с ним говорит, он встал: никогда с ним такой высокий начальник не говорил.

– Слушаю, товарищ комиссар!.. Есть, товарищ комиссар!.. Будет выполнено, товарищ комиссар!.. – и, выпучив глаза на этих двух в пижамах, растерянно проговорил:

– Приказано доставить назад к ларьку...

## II. Как добывали «языка»

Почти всю войну брат провел в блокадном Ленинграде. Понятно, не в самом городе, а в действующей армии. И какое-то время довелось быть разведчиком. Успехи их были невелики. Надо было добывать «языков». А эти «языки» – сильные, сытые, рослые финские солдаты. Сами же они ходили и качались как былинки, хотя армия в блокаде не так бедствовала, как ленинградцы. Брат вспоминал, как они строили блиндажи: даже легкое бревно едва могли поднять. И часто под этой не бог весть какой тяжестью падали...

Пришел приказ командира дивизии во что бы то ни стало добыть «языка». И вот до чего додумались армейские остроумцы. Ночью разведчики выдвинули поближе к финским окопам большую картину, хорошо укрепили ее и оставили засаду. Когда стало светло, финны увидели весьма выразительную сценку: был изображен Гитлер со спущенными штанами, а Маннергейм лизал ему зад...

Расчет был не очень хитрым. Финны, конечно, возмутятся и, конечно, не днем, так ночью попытаются убрать картину. Вот тут, мол, и добудут «языка». А финны и не собирались возмущаться. До наших окопов доносился хохот, веселые выкрики, кто-то кинул пустую консервную банку, стараясь добросить до картины...

Брат рассказывал эту историю просто как забавную. Фронтовики любили рассказывать веселые истории о той страшной и незабываемой войне. А о самом жутком не рассказывали. Языка же позднее добыли каким-то иным способом – уж во всяком случае без всяких картин.

### **III. Корней Чуковский и Илья Зильберштейн**

Когда читаю про знаменитого Илью Зильберштейна, создателя стотомного «Литературного наследства», литературоведа и искусствоведа, притом страстного следопыта во всем этом, – то вспоминаю один маленький рассказ брата.

Было это в конце сороковых годов, когда его руководитель по аспирантуре известный некрасовед Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов вместе с Корнеем Чуковским редактировал полное собрание сочинений Некрасова. Брат, тоже один их участников этой большой работы, по поручению своего профессора, будучи в Москве, посетил Чуковского. О Чуковском надо бы отдельно говорить – о его артистизме, даже о том, как он сам непременно подавал обшарпанную куртку брату и тем весьма смущал его... Но сейчас не об этом. Не помню, то ли брат пришел к Чуковскому, а там уже был Зильберштейн или он пришел

несколько позднее. Не в этом суть. Брата поразило, как Зильберштейн, который, вероятно в доме Чуковского чувствовал себя своим человеком, – как он взял стул, встал на него и снял со стены какую-то работу Репина и сказал очень непринужденно:

– Корней Иванович, зачем вам эта вещь?

Чуковский не собирался сдаваться. Брат был немым свидетелем незабываемо короткой, энергичной, интеллигентной и при этом яростной перепалки. Брат ушел и так не узнал, чем все кончилось. Однако навсегда запомнил еще и Зильберштейна-коллекционера, чем тот тоже был знаменит.

Мы помним блестящие исследования Зильберштейна и его парижские находки. Нет любителя литературы, который бы не рылся в бесконечных томах «Литературного наследства». Зильберштейн первый подал идею создать музей частных коллекций. И первый принес в дар этому музею свою огромную коллекцию картин. Музей и открылся выставкой из собрания Ильи Зильберштейна.

#### **IV. Про космополита Илью Эренбурга**

Когда в конце войны и особенно в первые послевоенные годы царил государственный антисемитизм и брата, лейтенанта, вернувшегося с Великой Отечественной Войны не принимали в аспирантуру, – он, отчаявшись, позвонил Илье Эренбургу, самому популярному публицисту, самому популярному человеку в годы войны. Эренбург, услышав, что звонит Моисей Хаимович Гин, все понял, посочувствовал сдержанно (его, Эренбурга, наверняка прослушивали!) и ничем не мог помочь. Он сказал, что в академической среде у него нет никакого влияния.

Тогда, да и много позднее, ходили легенды о том, что Эренбург на особом положении, что его никто не правит и не редактирует, и его чуть ли не сам Сталин любит... Понятно, что Сталин никого не любил, но Эренбург и во время войны нужен был, и после войны понадобился как мост для связи с западной интеллигенцией. И его, понятно, терпели и пользовались им.

А когда развернулась гнусная кампания борьбы с так называемыми космополитами, все были убеждены, что уж кто-кто, а Эренбург будет неприкасаемым, хотя его роман «Буря» был отличной площадкой для космополитических плясок. Ведь там много не только России, но и немало Франции, и о последней написано не только с симпатией, но и с любовью...

Брат рассказывал, что, когда Эренбург выступал в Ленинградском университете, его спросили о его мнении о низкопоклонстве перед Западом. Так тогда говорили. Эренбург ответил так: «Кланяться американскому пиджаку глупо. Шекспиру же, сколько бы мы ни кланялись, – будет мало...»

По словам брата, тогда же, в 1949 году, на каком-то важном и большом сборище московских писателей начали – по чьей-то команде или по собственной инициативе, чтобы продемонстрировать бдительность, – короче, начали костить космополита номер один – Илью Эренбурга. Сам же обвиняемый сидел тут же и невозмутимо слушал. И все при нем: и его знаменитая отвисшая губа, и его скептическая маска лица. Все шло как всегда. У таких идеологических погромов были свои обязательные сценарии и неперенные обряды и жертвоприношения. Главное же заключалось в том, что обсуждаемый должен был с трибуны активно каяться, то есть, говоря попросту, поливать себя помоями.

И вот настала очередь Эренбурга. Он вышел на трибуну и сказал:

– Я не так давно получил небольшое письмо. Я прочитаю его вам.

И дальше обычное обращение, что-то вроде «Уважаемый Илья Григорьевич!» или «Уважаемый товарищ Эренбург!» И всего несколько фраз о том, что автору письма понравился роман «Буря». И подпись «И. Сталин».

В огромном зале, только что содрогавшемся от раскатов «праведного» гнева выступавших и клеймивших позором космополита Эренбурга, – в этом зале воцарила мертвая и в то же время напряженнейшая тишина. И в этой тишине четко прозвучал одинокий голос заикавшегося Сергея Михалкова:

– Доп-п-п-прыгались...

## МОЙ ДРУГ ПЕТР РУДНЕВ

24 ноября 1996 года не стало замечательного ученого филолога, стиховеда и незабываемого человека Петра Александровича Руднева. Некролог в тартуском сборнике начинается так: "Ушел из жизни Петр Александрович Руднев, один из столпов русского стиховедения..." Почему я публикую в "Общинном вестнике" воспоминания о человеке, который исследовал не еврейскую литературу, а русскую? Ну, попробую все рассказать по порядку. Но сначала сразу скажу, что я потерял своего дорогого друга Петю Руднева...

П.А. Руднев родился в 1925 году. Он – сын юриста, но тот юрист Руднев происходил из старого купеческого рода. В Ставрополе были огромные склады для зерна, на стенах которых очень крупными буквами было написано: Р У Д Н Е В Ъ. И после революции, вспоминал П.А., как ни закрашивали эти надписи, все проступали эти большие буквы их фамилии с твердым знаком на конце.

А мама была Зинаида Абрамовна Зайденшнур. Ее фамилию с языка идиш можно перевести и как "шелковая невестка", и как "шелковый шнур"... Отца П.А. рано потерял, жил с мамой. Она работала медицинской сестрой. Детство и ранняя юность прошли на Северном Кавказе – в Ставрополе, Ростове и Сочи. Там же и воевал. На фронт пошел после девятого класса. Служил в артиллерии небольших калибров, которая тогда была на конной тяге. Когда я смотрел на интеллигентные руки Пети, мне не верилось, что он скребницей чистил коня. А ведь было такое. Руднев любил вспоминать свою ставропольскую и ростовскую родню со стороны матери, их очень характерное, местечковое произношение русских слов. Например, такое: "газета"... Может быть, поэтому Петя так полюбил анекдот, который, я ему рассказал и он шутя часто повторял его обороты. Анекдот этот весьма не хитрый. Было это давно, до революции. Почувствовал себя плохо один местечковый еврей. Надо было обратиться к врачам. Куда прикажете податься? "Ин Одес", конечно, в Одессу,

к тамошним знаменитостям. Так он договорился с женой: если потребуется операция, пошлет телеграмму. Его зовут Хаим, а жену – Хая. И вот первая телеграмма: "Резать, Хая, резать". И подпись "Хаим". Жена тоже отвечает телеграммой: "Резать, Хаим, резать". И подпись "Хая". Жандармское управление Одесского района всполошилось: что затевают евреи?..

После войны Руднев – студент классического отделения одного из московских пединститутов. Там еще было довольно много старой профессуры. И среди них Алексей Федорович Лосев. Петя любил повторять: "Если бы не революция, Лосев был бы вторым Гегелем"... А тогда Лосев был гонимым ученым. Особенно эти преследования начались в 1949 кошмарном году – году так называемой борьбы с космополитизмом. Конечно, это был простой государственный антисемитизм, который преследовал евреев-интеллигентов. А кто ринулся защищать Лосева? Студент Руднев, недавний солдат Великой Отечественной войны. Последнее обстоятельство, видимо, и спасло его самого от преследований. А в библиотеке Руднева есть все поздние книги Лосева с такими дарственными надписями: "Пете Рудневу – товарищу по борьбе".

Да, тогда недавний фронтовик Руднев не пострадал. Отомстили ему много позднее. Прошли немалые годы работы в школе, годы работы в Коломенском пединституте. Почему он вздумал первую свою диссертацию предложить для защиты в родной институт, я так и не понял. За давние бои ему отомстили подло: завалили защиту. Но вскоре наступили самые счастливые годы в жизни Руднева – время работы в Тарту, в университете, на кафедре великого Юрия Михайловича Лотмана. Здесь он успешно защитил уже стиховедческую работу. Достаточно сказать, что первым оппонентом был академик Виктор Максимович Жирмунский, в те же страшные послевоенные годы один из главных "космополитов"...

Руднев всегда оставался самим собой. Как-то идя в университет, он увидел пожар, и он на кафедре и многим знакомым рассказывал об этом потрясшем его пожаре.

А спецслужбы в тогдашней Прибалтике очень остро воспринимали вообще разговоры, а особенно остро – на такой неординарной кафедре, как лотмановская. Возможно, ректорат на что-то указал Лотману, и он сказал как бы мимоходом, но довольно едко:

- Петр Александрович, ну был пожар, ну что-то горело, ну и пусть себе горело...

Когда Петя рассказывал все это, то мне слышался голос моего отца "Си брент? Зол брэнэн"... ("Горит? Пусть горит...")

Так сложилось, что после Тарту год или два Рудневу и его жене Лидии Петровне Новинской, стиховеду, его ученице и последовательнице, – пришлось поработать в далеком Стерлитамаке, в тамошнем пединституте. Только один эпизод из тогдашней жизни в изображении Пети Руднева. На кафедре говорили об античной литературе. Руднев начал говорить с таких слов: "Я как классик"... Присутствовавший на кафедре проректор из партийных бонз понял так, что этот Руднев поставил себя в ряд с классиками марксизма-ленинизма. Другие классики для него, видно, не существовали... А ведь речь шла всего-то о том, что он, Руднев, получил классическое образование... Что говорить, Руднев очень хотел вырваться из Стерлитамака. Известный литературовед Борис Федорович Егоров, немало проработавший в Тарту, ближайший друг Лотмана попросил моего брата М.Гина помочь Рудневу устроиться на работу в Петрозаводске. Переговоры брата с ректором Карельского пединститута Петром Ивановичем Ихалайненем увенчались успехом, и с осени 1973 года Руднев стал работать в Карельском пединституте. Эти последние двадцать три года его жизни прошли в Петрозаводске. И эти двадцать три года он дарил меня своей дружбой. И он быстро стал торопить меня, чтобы мы перешли на "ты". Он почему-то как о неловкости, неудобстве вспоминал о тех своих друзьях, с которыми никак не удалось перейти на "ты"...

Впервые увидел я Руднева в конце лета того же 1973 года у брата. Это был среднего роста сутуловатый человек с темными, несколько напряженными глазами. Костюм, стрелка на брюках,

галстук, чеховская бородка, прическа – все в высшей степени аккуратно. Костюм, как я позже понял, обязательно тройка. Я все это заметил сразу, ибо сам далеко не аккуратен и уж если мне попадался костюм-тройка, то я первым делом выбрасывал жилет – он мне почему-то мешал. Руднев, когда говорил, потирал руки. Про себя я заметил, что эти руки всю жизнь работали только за письменным столом. Лопату, топор и пилу они едва ли знали.

Во время той первой встречи брат напомнил мне, что ждет меня на даче: надо было помочь ему. Руднев предложил и свою помощь. Я не очень вежливо засмеялся и бросил:

– Там нужен такой трактор, как я...

Когда на небосклоне российской филологии взошла блестящая плеяда стиховедов в начале 60-х годов – Михаил Гаспаров, Петр Руднева, Вадим Баевский и другие, – еще были живы классики стиховедения Жирмунский, Штокмар, всего несколько лет прошло со смерти Томашевского.

(С Штокмаром П.А. был хорошо знаком, бывал у этого патриарха стиховедения дома. И была у Штокмара овчарка. Он ее обучил всяким штукам и часто демонстрировал гостям. Например, вот такое. Сердитым, резким голосом бросал: "Это – троцкист!.." И бедный пес яростно начинал лаять. Так советская интеллигенция в своем узком кругу умела потешаться над советскими же дикостями...)

Известный исследователь поэзии Борис Яковлевич Бухштаб, к тому времени уже весьма не молодой человек, живо заинтересовался этой группой стиховедов-новаторов. Но особенно прикипел душой он к Рудневу, и горячо принял его исследования, и попросту полюбил Руднева как сына: опекал, волновался, когда какое-то время не было писем или звонков. И если ему дозвониться до Рудневых из Ленинграда в Петрозаводск не удавалось, то звонил нам и своим высоким и несколько тягучим голосом-говором спрашивал:

– Как там Петр Александрович? Не болеет ли? Что у них? Давно ничего не знаю...

Едва ли давно, но такова сила привязанности.



И вот как-то Б.Я. Бухштаб с женой приехали в Петрозаводск. Он хорошо был знаком с моим братом М.М. Гином: у них были хорошие деловые отношения. Бухштаб редактировал одну из книг брата. Но приехал Б., конечно, к Рудневым. А Петя всегда щедро делился своими друзьями и, конечно, привел Бухштабов к нам. И вот какая тогда приключилась забавная история. У нас была бутылка коньяка. Дамы пили что-то легкое, Бухштаб – тоже. А мы с Петей чего-то распрыгались и вдвоем уговорили эту бутылку коньяка. Надо сказать, не велик подвиг... Но самое интересное произошло потом. Когда Бухштабы вернулись к Рудневым, Борис Яковлевич сказал жене Пети Лидии Петровне Новинской:

– Иосиф Гин, наверно, хороший человек, но он ведь любит выпить. И не скажется ли это плохо на здоровье Петра Александровича?..

Никто никогда так хорошо обо мне не говорил... Через некоторое время я оказался в среде очень динамичных людей, и они, к сожалению, аннулировали эту мою такую высокую характеристику, данную мне Б.Я. Бухштабом. Мне было заявлено безапелляционно, что я непьющий, ибо после третьей стопки убегаю домой. Так та высокая характеристика не получила общественного признания, а осталось только моим личным и сладким воспоминанием...

Руднев не любил популяризаторства, поэтому известен был и в Петрозаводске только в вузовской среде. Зато как его знали и любили не только в Карельском пединституте, но и в Петрозаводском университете, где он читал спецкурс по стиховедению. Такой же спецкурс его пригласил читать в консерватории Юзеф Гейманович Кон. И мне довелось приводить П.А. Руднева в литературное объединение при Союзе писателей Карелии. Бывшие литовцы хорошо до сих пор помнят лекции-беседы ученого.

При всем своем весьма заметном артистизме, Руднев был очень строгим лектором – никаких баек, никаких анекдотов, все строго и весьма продуманно. Никаких пожелтевших бумажек, лекция каждый раз рождалась заново и была строго научной

и совершенной как произведение искусства. И его петрозаводские коллеги перестали просто по фамилии называть ученых. У Руднева если Бахтин, то обязательно Михаил Михайлович, если Баевский, то обязательно Вадим Соломонович, если Тынянов, то обязательно Юрий Николаевич, если Рейслер, то обязательно Соломон Абрамович. И так отдав дань своим предшественникам, единомышленникам, и оппонентами, Петя на кафедре радостно потирает свои ручки с такими характерными, очень и очень еврейскими движениями... И дальше, после такой краткой передышки идет опять неприменный поиск этой самой истины.

Был он очень увлеченный своей благородной наукой человек и фанатически стремился всех вовлечь в эту самую науку – недаром наш сын, впоследствии известный лингвист, называл Петю "ребе"...

Последние годы на земле Руднева были тяжелыми. Больно было смотреть на его угасание. Профессия у него была русская филология, а судьба мне видится как очень еврейская. Давно известно, что евреи сотни и даже тысячи лет, находясь в рассеянии, начиная с Иосифа бен Иакова, часто проявляли себя как будто в далеких от нужд своего народа делах, при этом в душе оставались детьми этого своего многострадального народа.

Одна весьма пожилая дама когда-то сказала Рудневу: "Петр Александрович, как вы похожи на Троцкого!.." А он просто похож был на колоритного интеллигентного еврея. Его все называли так, как было и в паспорте (у евреев это далеко не всегда совпадает...), – Петр Александрович. Но наблюдательные люди, в том числе и те, кто с антисемитским душком, хорошо просматривали в нем еврея.

## СЛОВО О ЛАЗАРЕ ШАПИРО

В Тель-Авиве на 79 году умер известный в Карелии писатель Лазарь Шапиро. Он долго болел, а несколько лет тому назад совершенно ослеп. И все эти годы с 1993 и до последних дней своих на земле очень часто звонил многочисленным друзьям в Петрозаводске. И его медленный, крепкий с паузами голос в телефоне разве можно забыть? И такие неторопливые разговоры длились по часу и больше. И сердобольные и бережливые друзья тревожились и говорили Лазарю: «Ведь такой, долгий разговор выгребет у тебя из кармана все деньги!..» А больной и слепой Лазарь отвечал всегда одно и то же: «Это последняя моя радость – общаться с вами...»

И как можно забыть, что весной 1960 года (на первомайской демонстрации в колонне министерства культуры, где мы непременно должны были присутствовать!) я познакомился с Лазарем Шапиро. И с тех пор он дарил меня своей дружбой. И следы этой дружбы я нахожу не только в надписях на книгах самого писателя, но и в шуточных надписях на других книгах. Среди моих любимых перечитываний есть и трехтомный роман Лиона Фейхтвангера о еврейском историке Иосифе Флавии, подаренный мне Лазарем с такой забавной надписью: «Иосифу – про Иосифа. Лазарь. 10.XII.70».

В карельском издательстве вышли его книги: «Мальчик с фонариком» (1960), «Мои знакомые» (1961), «Хорошо, Илмари!» (1962), «Так оно и было» (1964), «Доброе утро» (1967), «Строгий учитель» (1968), «Про меня и про всех» (1970). И, понятно, было много публикаций в журналах и газетах Карелии. Лазарь Шапиро родился 7 мая 1928 года в городе Червене, в бывшем еврейском местечке Белоруссии. Маленьким мальчиком, возвращаясь из детского сада, любил забираться на русскую печь, где лежал часто дедушка. Любил садиться верхом на его живот и вести беседы с дедушкой. А дедушка не просто беседовал, а задавал самые главные вопросы.

– Б-г есть? – спрашивал он у внука.

А тот, хорошо подготовленный в советском садике, твердо отвечал:

– Б-га нет!

– Вэк! Убирайся! – и отлучал внука от своих бесед.

Оба и дед и внук – были твердыми и убежденными людьми...

Так начинался трудный путь познания для будущего писателя.

Отец же будущего писателя был специалист по лесу, и с 30-х годов семья их жила в Карелии, в Петрозаводске. Во время зимней войны 1939-40 годов отец Лазаря Шапиро погиб в той самой дивизии, о которой Анатолий Гордиенко написал книгу «Гибель дивизии».

В 1952 году юный учитель после окончания Петрозаводского университета был направлен на работу в школу села Ведлозеро, где директором был Урхо Руханен. Известный литературный критик, литературовед и переводчик, он тогда не имел права после ГУЛАГа, где провел восемь лет, жить в Петрозаводске. А советский писатель Мариэтта Шагинян бодро писала в сталинские годы о богатстве культуры и литературы Карелии: мол, что там так много писателей, что некоторые из них живут в селах – и называла имя члена союза писателей СССР Урхо Руханена...

Судьба привела Лазаря Шапиро к очень важной для него встрече с Урхо Руханеном, которая стала началом их многолетней дружбы. Я не знаю более духовно близкого человека для Лазаря Шапиро, чем Урхо Руханен. Очень жаль, что Шапиро так и не написал воспоминания о Руханене.

Как-то летом – это было в 1975 году – мы с Лазарем вместе с нашими семьями отдыхали в Святозеро, и так случилось, что и Лазаря и меня подвез в Петрозаводск ректор Пединститута Петр Иванович Ихалайнен. Почему-то в тот раз Лазарь вспоминал много о Ведлозерской школе, о тамошних своих коллегах. Это был интересно и Ихалайанену, ибо в те далекие 50-е годы он был министром просвещения Карелии. Лазарь же был отличным рассказчиком и поведал много забавного и смешного. При этом у него была удивительная способность перевоплощаться в того,

о ком он рассказывал. Но Руханена в этом разговоре он не вспоминал. Об Урхо Руханене много и серьезно мне рассказывал и до этого и позднее.

Все, кто знали, кто учился у Лазаря Шапиро, обязательно говорят о его особой доброте. Когда вспоминаю об органической, ему прямо-таки природно присущей доброте, то всплывает в моей памяти и такой эпизод. Лазарь как-то принес с рынка зелень, и его мама заметила, что эта зелень какая-то неважная. И Лазарь охотно рассказал о том, что на базаре было много отличной зелени, и ее покупали. Но тут же продавала старушка, как оказалось, дачница. У нее зелень была похуже. Лазарь разговорился с этой старушкой. Она, как водится, поведала незнакомому, внимательному и очень доброму человеку то, о чем не всегда расскажешь и самым близким. Лазарю стало ее жаль. Он так примерно и сказал: «У всех покупают, а у нее – нет». И, конечно, купил у нее зелень. Тут я вижу самое главное в человеке и писателе Лазаре Шапиро.

В одном его рассказе есть такие слова: «Ему нравилось смотреть, как встречаются люди». В прозе Лазаря Шапиро встречаются, как правило, «чужие» люди. В этих «незнакомых» встречах человек проявляется наиболее ясно, ибо незнакомые люди более пристально всматриваются друг в друга. Как они поведут себя в обычной, в малодраматической или вовсе не драматической обстановке? Такие вот нехитрые как будто ситуации часто становились зерном сюжета в прозе Лазаря Шапиро, неторопливого и внимательного исследователя человеческих отношений. Его герои не все, наверно, помнили слова Антуана де Сент-Экзюпери о том, что самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения. И при этом все они исповедуют эту человечнейшую религию, это человечнейшее правило людей.

Встречаются люди по-разному на страницах и детских книг, и «взрослых» Лазаря Шапиро, но эти встречи всегда поучительны, ненавязчиво поучительны. Вот маленький мальчик Илмари пришел из школы и радостно сообщил:

– Сегодня Вася получил «пять», и учительница ему сказала: «Молодец, Вася!»

– А тебе, – спросила мама, – учительница ничего не сказала?

– Нет, – ответил Илмари, – она сказала только Васе.

– Что ж, – согласилась мама, – это хорошо, что Вася молодец.

А когда же учительница скажет и тебе: «Молодец, Илмари?»

– Не знаю, – ответил Илмари. – Наверно, скоро!»

Маленький человек встретился с чужой радостью. И эта радость стала своей. Так раскрылась нам эта незамысловатая история, рассказанная Лазарем Шапиро.

Иная встреча. И другой характер столкновения проступает в маленьком рассказе «На субботнике». Весна. Идет уборка на дворе. «Долбят лед, нагружают на носилки, выносят лед со двора. Из-под топорика Илмари, искрясь на солнце, летят во все стороны ледяные брызги – трудится человек.

Подошел семиклассник Степа. Посмотрел, как все работают, и о чем-то задумался.

Однажды Степа похвалился, что придумает такую машину, которая сама будет переворачивать страницы книги во время чтения.

– Ну и голова у этого парня, сказал тогда Андрей Захарович, который всему удивлялся. – Ты, Степа, непременно будешь изобретателем.

А Степа в ответ:

– Да, уж... наверное, придется...

Посмотрел-посмотрел Степа, как все работают, и говорит:

– Если изготовить на заводе огромную лупу и направить через нее солнечные лучи во двор, то лед растает в два счета...»

Все работают, и только Степа предлагает один «проект» за другим – и при этом ничегошеньки не делает. Здесь, помимо всего прочего, скрыт неназойливый юмор Лазаря Шапиро, которому у него свойственно без нажима, без форсирования смеха появляться. При этом радиус того, что видел Лазарь Шапиро, невелик, даже мал. Он почти не путешествовал, не метался из края в край ни по меридианам, ни по параллелям, не брал

популярные в те годы творческие командировки. И все это не из соображений парадоксального порядка: вы вот так, мол, живете, а я не так. Нет. Просто он иначе видел и иначе, как говорят, собирал материал жизни... И при этом Лазарь Шапиро больше, чем кто-либо другой, далек от такого привычного для нас понятия или сочетания слов – мелочи жизни. Он не знает их, этих мелочей жизни. И в то же самое время «мелочи» встречаются у него на каждой странице.

Тут мы приближаемся к мысли, что очень важными инструментами прозы этого писателя были притчи. А разве радость за другого, которую переживает мальчик Илмари, – это не притча? А эпизод с «конструктором» Степой разве не притча о лентяе? Такой же притчей становится ситуация в троллейбусе, когда заканчиваются билеты, – и как по-разному ведут себя люди...

Мы привыкли, что когда говорят о притчах, то разумеют что-то давнее, древнее, библейское. А Лазарь Шапиро писал, создавал современные как будто бесхитростные притчи. Так-то оно так, да я хорошо помню, что в наших пристрастиях и беседах Библия занимала большое место, мы далеко не сразу добрались до древнего еврейского языка, на котором написана Библия. Это трудный язык. Но нам с Лазарем достался от родителей более поздний еврейский язык – идиш. Тут еще помогало, что мы знали немного немецкий. Лазарь раньше меня начал читать на идиш. Я ему подарил доставшийся мне от отца том Шолом-Алейхема «С ярмарки» («Фунэм ярид»). Когда же я начал читать на идиш, то вскоре стал пробовать и писать, хоть и малограмотно, на языке моих родителей. Меня заражал пример Олега (Армаса) Мишина, который, испытав типичную судьбу ингерманландцев в Советском Союзе, нашел в себе силы не только возродить для себя финский язык, но стал думать, писать на этом языке, переводить с русского на финский. Мы с Лазарем Шапиро так далеко не дошли. Но однажды я все-таки Лазаря озадачил, предложив ему поддиктовать мне на идиш. И он был удивлен, как я быстро рисую эти, как кто-то сказал, рыболовные крючки... И это были буквы самого древнего на земле алфавита.

Я, как водится, несколько отвлекся. А речь шла о притчах в прозе Лазаря Шапиро. Все его притчи – это как бы пробные камни, на которых испытываются нравственные показатели человека. Хороший или плохой, «что такое хорошо и что такое плохо» (Маяковский) – это все детские прозрачные и простые решения очень непростых явлений. Хороший или плохой – вот ведь над чем бился всю жизнь Лазарь Шапиро. И его детские книги («Мальчик с фонариком», «Хорошо, Илмари!», «Доброе утро») и его «взрослые» книги («Мои знакомые», «Так оно и было», «Строгий учитель») – все они решали все те же задачи.

У притчевой и нравственно озабоченной прозы Лазаря Шапиро есть еще одна не сразу заметная грань: хотя в его рассказах встречаются только русские и финские имена, но эта настойчивая морализующая нотка – и автора и его героев, – эта нотка, этот неприкрытый нравственный максимализм внимательному читателю напоминает и тот самый библейский мир, и то, что автор еврей.

Притчи рождались из встреч и общения с людьми. Стремление к общению с самыми разными людьми было заложено в натуре, в душе писателя и как бы диктовало этукую душевную распахнутость. И все это иногда приводило Лазаря Шапиро к довольно забавным ситуациям. Так, когда началась знаменитая Шестидневная война в 1967 году, то хорошо знакомый Лазарю дворник сказал-спросил у него:

– Чего это вы там натворили?

Мне бы посмеяться вместе с Лазарем над этим случаем, а я нешуточно раздражился и сказал ему:

– Это все твоя приветливость и распахнутость. А у меня такая морда лица, что никто не посмеет мне сказать такие слова!..

Лазарь Шапиро жил, как и все мы, в достаточно сложном, трудном и далеко не всегда добром мире. Но все им написанное обращено к доброму началу в человеке, особенно в маленьком человеке – в ребенке. И, грешным делом, многим из нас казалась такая склонность писателя довольно утопичной... И при всем при этом чувство правды никогда не изменяло Лазарю Шапиро.



Вспоминается такой эпизод конца 60-х годов, когда наше республиканское издательство готовило к 1970 году, к столетию со дня рождения Ленина сборник воспоминаний и рассказов о вожде. На обсуждении мой старший брат известный литературовед Моисей Гин вспомнил тогда вслух непроизносимые слова о том, что если сложить время всех бесчисленных воспоминаний о встречах с Лениным, то жизни вождя явно не хватает... И он же добавил, что у него больше всего вызывает доверие маленький, прямо-таки крохотный рассказ Лазаря Шапира «Здравствуйте, товарищ», где старого человека тормозат разные инстанции, требуют, чтобы он в школах рассказывал о встречах с Лениным. А ему, стоявшему в охране красноармейцу, однажды довелось видеть вождя, который, проходя, сказал ему: «Здравствуй, товарищ!» Вот и все. Больше ему нечего и не о чем рассказывать...

Заканчивая эти заметки, хочу напомнить, что Лазарь Шапира был одним из последних литераторов, кто с Дмитрием Гусаровым был на «ты». Известно, что Гусаров был далеко не распахнутый человек. Среди тех немногих, кто был с Гусаровым на «ты», были Яакко Ругоев, Виктор Соловьев, Ортъе Степанов, Петр Борисков... И последнее. Сейчас, когда на бедные головы детей опрокидывается столько телеужасов и мультужасов, – сейчас хорошо бы издать книжечку лучших рассказов для детей Лазаря Шапира. Эта проза так по-человечески добра.

## НЕМНОГО О ЛЕОНИДЕ РЕЗНИКОВЕ

Я хочу рассказать о Леониде Яковлевиче Резникове. Его хорошо знали и помнят в Карелии и не только в Карелии. Это был замечательный литературный критик. О том говорят его книги. Он был известным литературоведом, специалистом по творчеству М.Горького. О том, опять-таки, говорят его книги – вплоть до последней – «Максим Горький – известный и неизвестный», опубликованной не так давно, уже посмертно.

Леонид Яковлевич Резников родился в 1919 году в Одесской области. Отец его провизор, мать – медик. До войны успел окончить филологический факультет Герценовского института в Ленинграде и в 1940 году поступил в аспирантуру. С первых дней войны ушел добровольцем на фронт. А фронт этот – блокадный Ленинград. Воевал, был несколько раз ранен, был награжден орденами и медалями. А после войны, перед самой антисемитской волной, так называемой борьбы с космополитизмом, успел защитить кандидатскую диссертацию о творчестве Эдуарда Багрицкого. Много позже стал и доктором наук и профессором, но это уже в Петрозаводске. А сначала преподавал в Минске, в Белорусском университете. О том времени вспоминали его бывшие студенты: писатель Алесь Адамович и публицист Юрий Черниченко... Потом был еще Кишиневский университет. И более двадцати пяти лет преподавал Леонид Яковлевич в нашем Петрозаводском университете. Его слушали сотни, наверное, даже тысячи студентов. Всего этого вполне достаточно для биографии одного литератора. Леонид же Яковлевич Резников был необычайно и разносторонне одаренным человеком. Он – поэт. Всю жизнь писал стихи, скупно публиковал их. И уже в довольно поздние годы собрал и напечатал хороший томик стихотворений. Я сказал, что скупно печатал стихи. Да. Но среди этих немногих есть публикация и в журнале «Ленинград». Это чуть ли не перед самым постановлением ЦК ВКП/б от 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Это

перед тем гнусным постановлением и еще более гнусной речью Жданова, что уничтожила и этот журнал «Ленинград», и уничтожила Ахматову и Зощенку.

Л.Я.Резников отличный очеркист и публицист. Мы помним его книги о Валааме. Наконец, Леонид Яковлевич был самобытным – с таким автобиографическим уклоном – прозаиком. Его рассказы и повести публиковались в журнале «Север» и затем вышли отдельной книгой в издательстве «Карелия». Я нечаянно оказался свидетелем истории издания прозы Л.Я.Резникова. Многие знают, что Леонид Яковлевич умел горячо драться за правду. У него много было почитателей и друзей, но были, понятно, и враги. Зная эту ситуацию, на вопрос редактора издательства, кому бы я посоветовал дать на отзыв рукопись книги Резникова, довольно грубо ответил: «Это зависит от того, что вы хотите. Если хотите угробить дело, то давайте кому попало! А если хотите издать книгу, то надо посоветоваться с самим автором. Ведь этот отзыв – чистая формальность, так как почти вся эта проза была опубликована в журнале, в «Севере». И томик прозы Л.Я.Резникова вышел через какое-то время...

Леонид Яковлевич появился в нашем университете в бурном 1956 году – году больших и почти не оправдавшихся надежд. Тогда при первых впечатлениях Резников поражал студентов, как рассказчик. На всю жизнь запомнился мне своим рассказом об одном известном ленинградском поэте, о событии времен ленинградской блокады. Был этот поэт тяжело ранен, осколок попал в шею. Врачи боролись за его жизнь, но, видимо, не было никакой надежды. Как и других обреченных, от которых отступила медицина, этого поэта снесли в подвал госпиталя, то есть в морг. При этом на всякий случай посадили там, в подвале, в морге, медицинскую сестру: на случай если кто-то из них и победит смерть. Можно представить, как страшно было этой юной медсестричке – тут и трупы, и агонизирующие. Вот она и взяла с собой патефон и ставила все время пластинки. А этот поэт был жив, был в сознании, все слышит и видит, но речь парализована.

То ли он зашевелился, то ли застонал. Короче, ясно стало, что жив, и помирать не собирается; подняли наверх. Еще много месяцев провалялся он по госпиталям. Его лицо несет отпечаток того страшного ранения: оно словно разделено по вертикальной оси, разделено симметрично... Это – Вадим Шефнер.

Да, это был первый интерес, первое удивление перед новым человеком, который слово «поэт» произносит так, что даже при устной передаче ясно становится, что оно, это слово, непременно писаться должно с прописной буквы – Поэт... И я доверчиво понес ему, Л.Я.Резникову, какой-то свой студенческий опус, что-то литературно-критическое и, наверно, довольно убогое. Леонид Яковлевич по доброте своей пощадил мое самолюбие, не раздраковал текст, заговорил со мной о том, как следует писать. При этом изложил, как я теперь понимаю, одну из самых трудных технологий этого высокого ремесла. Писать, говорил он, надо так: пока окончательно не сработана предыдущая фраза нельзя браться за следующую. Только годы и годы спустя я догадался, что мне был предложен идеальный вариант работы – вариант, редко кому доступный. Большинство пишущих сначала набрасывают черновик, а затем долго и медленно шлифуют его. Я знал только одного мученика и артиста такого способа работы. Это был писатель Виктор Соловьев.

Л.Я.Резников – увлекающийся человек, очень увлекающийся. Когда он увлечен был замечательной книгой Выгодского «Психология искусства» (а мы все были тогда под обаянием этой книги), то это замечали и студенты и все, кто слушал публичные выступления Леонида Яковлевича. То же самое происходило и когда Леонид Яковлевич буквально был одержим очерком Глеба Успенского «Выпрямила»... У Томаса Манна прочитал вот эти слова: «Людам чувства свойственна внешняя выразительность» («Иосиф и его братья», т. I, с. 107) – и, как вы догадываетесь, сразу вспомнил Л.Я.Резникова.

Как увлекающийся человек Л.Я.Резников иногда терял чувство меры. Вспоминается год 1957 или 1958. Леонид

Яковлевич тогда задумал провести большой вечер поэзии в университете. Нам, студентам, раздал маленькие докладчики о тогда словно родившихся поэтах – Леониде Мартынове, Николае Заболоцком, Владимире Луговском, Михаиле Светлове. И говорили Женя Крохина, Семен Манюхин, Саша Анашкин, Соня Лойтер, еще кто-то. Я тогда увлеклся Ярославом Смеляковым, впервые в руках держал его только что вышедшую книжечку стихотворений. А когда прочитал иронические строки про комсомолку первой пятилетки:

Зинка, Зинка, как же ты,  
Каким путем, скажи на милость,  
С индустриальной высоты  
До рукоделья докатилась?..

– актовый зал засмеялся. Короче, мы все как будто были довольны. Леонид Яковлевич тогда сказал горячее вступительное слово во славу Поэзии и Поэта. Все мы отговорили свои докладчики и уселись тут же на сцене, среди поэтов Карелии: Леонид Яковлевич пригласил на этот вечер и известных поэтов петрозаводских – были Борис Шмидт, Алексей Титов, Марат Тарасов, Михаил Сысойков, Георгий Кикинов, еще кто-то. И тут я почувствовал какое-то напряжение. Кто-то из поэтов сердито зашептал мне: «Что это он посадил нас слушать доклады?..» Только тогда до меня стало доходить, что поэты Карелии вынуждены будут читать свои стихотворения на фоне прозвучавших крупных поэтов России. Но ничего страшного не произошло: поэтов хорошо встречали и провожали. И все-таки увлекающийся Л.Я.Резников, мечтавший о грандиозном вечере поэзии тогда оплошно соединил по сути дела два вечера поэзии: о поэтах Карелии и о поэтах России, возрожденных оттепелью...

В увлеченности Леонида Яковлевича всегда был элемент донкихотства. Трезвых людей это должно было раздражать. Сражаться за правду он готов был на любой площадке, вплоть до обкома партии. Для Резникова было само собой разумеющимся

кинуться на защиту даже мало знакомого ему человека. А уж то, чем жило его время, неизменно его волновало. Притом не только на уровне бесед с окружающими людьми. Это требовало более активного выхода. Л.Я.Резников отправил в журнал «Новый мир» темпераментное большое письмо об одной повести А.Солженицына. И это письмо, а, по сути, статья была тогда опубликована. Леонид Яковлевич горячо отозвался и на волновавшую нас тогда повесть «Кончина» В.Тендрякова. Это хорошо помнится до сих пор.

Говорят, что человека можно узнать по тому, как он смеется. Шла обычная защита дипломных работ на филологическом факультете нашего университета. Было это в брежневские годы. И вот студентка, только что защитившая свою дипломную работу, в заключительном слове стала благодарить своего руководителя Леонида Яковлевича и сказала:

– Дорогой Леонид Ильич!

Никто не проронил и слова, но что творилось... Лысина моего брата, М.Гина, от смеха стала малиновой, колыхалась от сдерживаемого смеха председатель государственной комиссии очень крупная, полная женщина, известный лингвист Иванова, вся большая аудитория смеялась. Ведь у всех в ушах навязли эти непрерывно повторяемые со всех сторон «Дорогой Леонид Ильич!..» И среди этого все же тихого веселья выделялся громкий, открытый и невероятно веселый хохот Леонида Яковлевича Резникова.

## МОЙ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ И МОЙ ИДИШ

Почему на склоне жизни – в шестьдесят лет! – вдруг засел я осваивать алэфбэйс и стал очень медленно, очень плохо читать на идиш? Ответ очень простой: чтобы читать в оригинале Шолом-Алейхема. Это, конечно, не полный ответ. На пороге старости заметил, что хочется мне сказать слово-другое на идиш. А с кем прикажете перебраться этими немногими, оставшимися от детства словами? Скажешь кому-то "шолом-алеихем" и в ответ только получишь повторение этих же слов. А на самом деле их надо "ибэркэрн", то есть, перевернуть – "алеихем-шолом"... И самым лучшим собеседником оказался великий писатель Шолом-Алейхем. И много хороших людей помогли мне собрать маленькую библиотечку книг на идиш (я не люблю склонять это слово и заметил, что в Краткой еврейской энциклопедии тоже не склоняют это слово "идиш"). И больше всего у меня, конечно, книг Шолом-Алейхема. А добрейшая душа, наш Дмитрий Цвибель, дал мне довольно изрядный том "Хумеш фар киндер", то есть Тора для детей и подростков. Это просто и простодушно пересказанное Пятикнижие на идиш – и оно было мне вполне, как говорят, по плечу... А началось всё с того, что Мина Файтелевна Куртиш нашла у своих родственников, где-то под Петрозаводском, "Тевье-молочника", в оригинале, и, поверите ли, я целый год по полстранички в раз, читал эту небольшую и мудрую книгу. Но это было лет двадцать тому назад. Сейчас я читаю немного бодрее... И еще одна добрая душа и очень энергичный человек, Лев Исаакович Кабаков, многим знакомый говорил: "Если у вас есть книги на идиш, подарите их Гину..." Так у меня появился и "Самоучитель языка идиш" Сандлера, и один том из собрания сочинений Шолом-Алейхема 30-х годов, содержащий знаменитые "Железнодорожные рассказы", и обе части "Мальчика Мотла", и "Шир-наширим" ("Песнь Песней") Шолом-Алейхема, и, конечно же, появился и свой томик "Тевье-молочка". Всё шло в дело.

У меня нет "Фунем ярид" ("С ярмарки"), но я нашел в сандлеровском "Самоучителе" хоть отрывок – и то хорошо. Я не очень был склонен штудировать "Самоучитель" Сандлера, но отрывки прозы, но стихи читал с жадностью. И наткнулся на "Стихи о советском паспорте" Маяковского в переводе на идиш... Знаете, кто перевел это стихотворение на идиш? Эммануил Казакевич.

Когда, вскоре после войны, на каком-то обсуждении литературном восхищались повестью Э.Казакевича "Звезда", то он, отвечая, сыграл этакого простачка:

– Если вам так нравится, то я еще напишу...

А одна литературная дама, писательница – довольно неважный прозаик – тогда сказала Михаилу Светлову:

– Миша, говорят, что до войны Казакевич был поэтом, писал весьма посредственные стихи на идиш, а теперь, посмотри, какую прозу по-русски выдал...

Михаил Светлов довольно едко ей посоветовал:

– А может быть, и тебе стоит начать писать стихи на идиш?..

Я, как водится, немного отвлекся. У нас же дома на Украине и до войны, и после нее идиш жил. И мы, дети, незаметно усваивали, но, понятно, узко, только на бытовом уровне. Словарь мой был и остался крайне бедным. Вспомнилось, как у нас гостила перед войной бабушка, мать отца. Она всю жизнь прожила в еврейско-немецкой крестьянской колонии где-то между Запорожской и Херсонской областями и по-русски не говорила. Родители как-то ушли вечером куда-то в гости, а нам захотелось есть. И старший брат сказал: "Бобэ, гиб брэйт!" Бабушка, конечно поняла, но решила немного поиграть: "А ганцн брейт дир? ("Целую буханку тебе?") Вот так примерно мы говорили на идиш...

А я все возвращаюсь мысленно к моим стареньким, маленьким, потрепанным книжечкам Шолом-Алейхема. Особенно люблю перечитывать трогательную историю любви мальчика и девочки в "Шир-наширим". Да, Шолом-Алейхем ей дал название знаменитой библейской книги "Песнь Песней". Вы помните, как начинается у Шолом-Алейхема?



"Бузя – имя, получилось оно из Эстер-Либа: Либузя, Бузя".

Да, так часто по-домашнему мы изменяем имена. Вот знаменитое библейское имя Хава, дающая жизнь. А в быту девочку зовут Хавуся, Вуся. Так и привыкают к этому красивому и ласковому имени Вуся...

Едва научившись читать, я захотел общаться с теми, кто еще немного помнит идиш. Но прежде расскажу, как же я учился читать. Я сразу отметил, что печатный шрифт и письменный, если можно так сказать, очень разные по написанию. Вот буква "шин" на письме совсем как бы "другая" – напоминает "е". И я запретил себе даже всматриваться поначалу в письменный шрифт. Я долго перерисовывал буквы квадратного еврейского письма, не позволяя в день писать больше одной буквы, но зато заполняя ее рисунками большие листы. И когда я хорошо запомнил все буквы и стал читать, только после этого позволил себе осваивать письменные буквы. И стал довольно легко писать, хотя, конечно, и весьма безграмотно. Так, для меня осталось загадкой, почему мне легче писать, чем читать...

Охотники пообщаться немного на идиш, конечно, нашлись. И назвали почему-то эти скромные и тихие собрания наши довольно пышно: "Идиш-клуб"... На самом деле все было куда как скромно, но тепло и сердечно. Собирались довольно не молодые люди: Мария Моисеевна Маркелова, Раиса Михайловна Сафра, Мина Файтелевна Куртиш, иногда приходил к нам знаток языка идиш и древнееврейского языка Ефим Лейбович Левин. Я не всех назвал, но хочу сказать, что и в нашей небольшой группе есть уже потери. Мы потеряли Симочку Чернякову. Да, все ее так и звали – Симочка...

Я приносил на эти идиш-собрания сборники еврейских песен, сборник пословиц и поговорок. Стоило прочесть несколько пословиц, как многие стали вспоминать памятные еще из детства слова и поговорки. Мы слушали еврейские песни. Я читал крохотные отрывки из "Тевье-молочника" или "Мальчика Мотла" я читал на идиш о патриархах их Торы для подростков...

Так продолжалось несколько лет. И продолжалась радость обладания книг на идиш. У меня есть тома избранных произведений Менделе Мойхер-Сфорима и Ицхака-Лейбуша Переца, сборники стихотворений Шмуэля Галкина, Лейба Квитко, замечательного лирика Ошера Шварцмана, погибшего в молодости, в 1919 году во время кавалерийской атаки; у меня есть даже два сборника стихов Шике Дриза, которого по переводам знают как Овсея Дриза.

И вот совсем недавно опять пополнилась моя библиотечка книг на идиш. У меня появился томик Мойше Тейфа, где есть его избранные стихотворения, поэмы и баллады. А до того я его знал, за редким исключением, только по отличным переводам Юнны Мориц. Теперь у меня есть изрядный том прозы Давида Бергельсона – того Бергельсона, который начал печататься еще при жизни Шолом-Алейхема и того Бергельсона, который был расстрелян 12 августа 1952 года, когда погиб весь цвет еврейской литературы и культуры – Перец Маркиш, Лейб Квитко и многие-многие другие.

Мой старший брат Моисей Гин случайно познакомился с человеком, которому довелось сидеть в одной камере с Давидом Бергельсоном. Писатель был в довольно преклонном возрасте. По рассказам того человека, Бергельсон оцепенело раскачивался и только повторял: "Фар вос? Фар вос?" – "За что? За что?.."

Теперь у меня есть книга Бера Гальперина "Моя родословная", том прозы Хаима Меламуда и маленький томик избранных стихотворений Давида Гофштейна, где, кроме всего прочего, есть его переводы на идиш из Пушкина и Тараса Шевченко.

Но самая большая радость – это маленькая, крохотная библиотечка книг Шолом-Алейхема. Поначалу мне казалось, что, обладая таким богатством, я могу кому-нибудь подарить мой шеститомник Шолом-Алейхема на русском языке. Я, конечно, погорячился. Я хорошо помнил, как беден мой так трудно обретенный идиш. Жизнь показала, что, читая Шолом-Алейхема

в оригинале, я иногда, открываю один из томов в переводе и помогаю себе. Но тут открылось неожиданно и совсем другое. Сравнивая перевод с оригиналом, я увидел, как замечательные переводчики, спасая текст от советской цензуры, вынуждены были не только несколько искажать великого Шолом-Алейхема, но и пропускать целые абзацы его текста. Что тут долго говорить – на этом материале, на этих наблюдениях можно написать не одну диссертацию... Я же приведу хоть несколько примеров.

В одном месте перевода Шолом-Алейхема я прочитал такое словосочетание: "купол неба" и, грешным делом, усомнился, так ли в оригинале, ибо у евреев редко встречаются купола. И на самом деле там, где в переводе был "купол неба", оказалось вот что: "ярмолкэ дем гимл", то есть "ярмолка неба". Теперь вместо ярмолки сказали бы: кипа... В других местах встречается "свод", "небосвод", а в оригинале всё та же "ярмолкэ".

На первой странице "Тевье-молочника" есть очень характерный идиш-оборот "а штикл глик", то есть "кусочек счастья". Мне кажется, так и надо было перевести. Да, сочетание "кусочек счастья" непривычное, но зато оно передает национальную интонацию. Переведено же было одним словом "счастье", которое в этом контексте не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета...

Как мы помним, вся книга "Тевье-молочник" – это рассказы самого Тевье и его исповеди. И он часто начинает свою речь словом "бэкицэр" – в буквальном переводе "быстрее". Переводчик такое начало речи обозначает так: "словам". И это довольно точно. Но поскольку это слово "бэкицэр" часто встречается, то стоило его не переводить, а воспроизвести кириллицей дать сноску, где указать, что ближайшее тут значение – "словом"...

А теперь приведу перевод, рассчитанный на прохождение через советскую цензуру. Вот только одна фаза из вечернего пейзажа в шоломалейхемовском "Тевье-молочнике": "Тени деревьев вытягиваются до бесконечности". "... до бесконечности" у писателя нет. А что же есть? У Шолом-Алейхема тени

вытягиваются, "ви дэр йидышэр голэс", то есть как еврейское изгнание (рассеяние, галут)...

Я привел всего несколько примеров, но убедился (уж себя точно убедил!), что шеститомник Шолом-Алейхема по-русски никому дарить не стоит...

Журнал "Советиш Геймланд" выписывал еще мой отец, а в 1990 году, когда отца уже давно не было, выписал и себе, так как засел плотно за идиш. В год получал не только двенадцать номеров журнала, но еще и двенадцать небольших книжечек приложения "Юнгвалд". И вот в пятом номере всё за тот же 1990 год обнаружил до того не встречавшуюся в русском переводе публицистическую статью Шолом-Алейхема "Почему иначе". Ничего не сообщалось ни когда она была написана, ни где опубликована. Статья маленькая, всего шесть небольших страничек, но уже прошло пятнадцать лет, как я ее не могу забыть, и всё возвращаюсь и возвращаюсь к ней...

Шолом-Алейхем выбрал форму "фир кашес", форму "четырёх вопросов", – вопросов, которые младший сын задает отцу во время пасхального сэйдэра. Надо сразу сказать, что всё происходит в очень состоятельной дореволюционной еврейской семье. Дети получают домашнее образование, то есть все учителя приходят домой. Всё это внешняя форма и выбрана она писателем для того, чтобы темпераментно высказаться обо всем, что Шолом-Алейхема тогда волновало. Я же эти резкие слова писателя воспринял как направленные именно против меня, моего образа жизни и мыслей.

О чем же эти "фир кашес", о чем спрашивают отца? Я выберу некоторые из самых острых. Вот спрашивают отца, почему на Пейсах, на всю неделю отпустили бонну – чего мы стыдимся? Может быть, мы стыдимся Моисеевой Торы? И далее идет серия вопросов, которые, понятно, выходят далеко за пределы "фир кашес"... Нас учили многим языкам, новым и древним, но своему родному не учили. Мы знаем географию всего земного шара,

но географию одной-единственной страны – Эрец Исраэль – мы не знаем. Мы знаем историю многих стран, но историю своей страны не знаем. Мы знаем Толстого, Пушкина, Гоголя, Горького, но не знаем Абрамовича (то есть Менделе Мойхер-Сфорима). И самое, наверно, едкое и даже фантастическое обвинение: их состоятельный отец деньгами поддерживает еврейские периодические издания, но не выписывает их, а подписывается на суворинское "Новое время". Даже самый ассимилированный еврей все-таки не стал бы подписываться на эту знаменитую своим антисемитизмом газету... Но Шолом-Алейхем в своем праведном гневе решил надавить на все педали! Никогда я такой публицистики и такого накала у Шолом-Алейхема не встречал. И уже много лет в нашей школе, где я во взрослой группе читаю Тору, да и части Танаха, каждый год перед пейзажом напоминаю и читаю отрывки из этой потрясающей меня статьи Шолом-Алейхема "Почему иначе".

Вот такой разный мой Шолом-Алейхем и такой мой путь через идиш к этому дивному писателю.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| 1. | Отец рассказывал.....              | 3  |
| 2. | Мой старший брат .....             | 9  |
| 3. | Устные рассказы Моисея Гина .....  | 16 |
| 4. | Мой друг Петр Руднев .....         | 21 |
| 5. | Слово о Лазаре Шапиро .....        | 27 |
| 6. | Немного о Леониде Резникове .....  | 34 |
| 7. | Мой Шолом-Алейхем и мой идиш ..... | 39 |

Из серии  
«БИБЛИОТЕЧКА ГАЗЕТЫ «ОБЩИННЫЙ ВЕСТНИК»  
вышли в свет:

**Бен Гирш.** Азбука иудаизма

**Дмитрий Цвибель.** Время любить

**Из еврейской поэзии.** Сост. Иосиф Гин

**Нохим-Залманович.** Еврейские пословицы

**Давид Генделев.** Из истории еврейской общины

Петрозаводска

Имена и судьбы. Сост. **Юлия Генделева**

**Залман Кауфман.** Невыдуманные рассказы

**Евреи Карелии.** Сост. М.Бравый, И.Шегельман, Я.Бравый

**Залман Кауфман.** Зяма

**Дмитрий Цвибель.** Судьбы, опаленные войной

**Дмитрий Цвибель.** Мой еврейский вопрос

**Дмитрий Цвибель.** Лидеры

**Дмитрий Цвибель.** Мой папа

**Лев Хорош.** Судьбы еврейские

**Дмитрий Цвибель.** Август 91-го и после

*БИБЛИОТЕЧКА ГАЗЕТЫ «ОБЩИННЫЙ ВЕСТНИК»*

*Выпуск 16*

*Редактор  
Дмитрий Цвибель*

---

---

Отпечатано: ООО «Два товарища».  
Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, Лесной пр., 51.

---

---

Тираж 300 экз. Заказ № 455